

СОДЕРЖАНИЕ

Перекрёстки N 1-2/2010

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПОГРАНИЧЬЯ



Игорь Бобков

НА ВОСТОК ОТ ЦЕНТРА: конфигурации модерности в восточноевропейском Пограничье

Abstract

The major object of analysis in this article is the place that the Eastern European Borderland occupies in diverse scientific, as well as scientific and ideological, discourses. Having analyzed the theories and models of Edward Said, Larry Woolf, and Walter Dignola, etc, the researcher comes to the conclusion that the Eastern European Borderland is the place of a certain inner self-colonization. In order to be described adequately this place requires not only referring to the cultural archive, but also deconstructing the regulatory (Euro-centered) models of modernity.

В 1994 году в издательстве Стенфордского университета вышла книга американского историка идей Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения»¹. Исследование посвящено одному из наиболее интересных моментов европейской интеллектуальной истории. Согласно Вульфу, именно в эпоху Просвещения произошел разрыв с идентичностью христианского мира, и благодаря новому зеркалу, что поставили перед континентом интеллектуалы этой эпохи, преимущественно французского происхождения, Европа начала отождествлять себя с идеями науки, прогресса и цивилизованности. Теперь не христианство, а новое знание и свет разума определяли место страны на шкале цивилизованности, а сама шкала являлась не столько *описанием реальности*, сколько идеологической фиксацией определенных прав и преимуществ.

Именно в тот момент (этот тезис является одновременно и стартовой гипотезой, и выводом книги) европейские интеллектуалы почувствовали потребность в чем-то отличаю-

щемся, в месте, которое не было бы радикально Иным, отстоящим в пространстве (как Восток), либо радикально отсталым, отстоящим во времени (как Африка). Место, которое бы стало своеобразной тенью просветительской Европы, пространством полуварварства, полудивилизованности, местом, с перспективы которого свет разума смотрелся бы особенно выигрышно и привлекательно.

Эта потребность и привела к рождению Восточной Европы в качестве образа, интеллектуальной конструкции, которая была изобретена Западом и встроена в новую современную/колониальную иерархию мира.

Этот новый образ территорий, что лежат на восток от зоны романо-германского расселения, выявился в целом ряде текстов, которые и стали объектом анализа американского исследователя. Тексты жанрово и дискурсивно разные: дневники случайных путешественников, исторические трактаты, письма, даже частные разговоры. Все они объединены дискурсом «Восточной Европы».

В результате их анализа Ларри Вульф приходит к выводу, что перед нами именно *изобретение*: создание нового интегрального образа для территорий, которые лежали на Восток от зоны цивилизации Запада.

Вскоре после выхода схема, которую предложил Вульф, стала на Западе почти классической, а немногие попытки критики (преимущественно в немецкоязычном мире, и в основном за игнорирование немецкоязычной интеллектуальной продукции) остались практически без ответа. Сама книга вышла в определенный момент интеллектуальной истории Европы: когда надежды на триумфальное воссоединение Запада и Востока (горбачевская концепция *общеевропейского дома*) окончательно остались в прошлом. По сути дела, это был пункт поворота, время первых критических переоценок взаимоотношений между Западом и Востоком Европы. Время, когда возникало понимание, что этот разлом имеет момент своего рождения и его генеалогия еще не написана.

Ларри Вульф был первым, кто тематизировал всеобщие концептуальные ожидания в форме академического бестселлера. Но не единственным. Похожая работа происходила в самых разных зонах, и соответствующие идеи циркулировали во второй половине девяностых в разных дисциплинах. Среди классических работ можно припомнить альтернативную версию истории Европы Нормана Дэвиса «Europe. A History», где он предложил такой нарратив истории континента, в каком история восточной части не является только тенью истории Запада, а занимает достойное и, что важно, концептуально отличное, *свое* место.

Мы имеем также целый ряд работ, которые касаются тех либо других восточноевропейских субрегионов и которые, конечно, готовились и выходили независимо от Вульфа, хотя и опирались на те же самые идеи (Мишеля Фуко и Эдварда Саида). Среди этих субрегиональных проблем безусловным лидером во второй половине девяностых стала проблематика балканизма.

В 1995 г. Бакич-Хайдеп ставит вопрос, является ли дискурс, который касается региона бывшей Югославии, ответвлением ориентализма. В 1996 г. Горгурис

пишет работу о Греции, связи эпохи Просвещения и колониализма. В 1997 г. выходит «Воображая Балканы» Марии Тодоровой, историческое исследование, которое стремится проследить рождение и развитие дискурса балканизма, и опять же в качестве основной модели выбирается модель ориентализма Саида. И, наконец, в 1998 г. Голдсворти издает «Воображая Руританию. Империализм воображения», работу, в которой анализ стремится перейти от региональных схем к определенной социально-культурной типологии².

В другой половине девяностых начинается работа болгарской *Группы по исследованию периферии*, лидер которой Александр Къёсев в своем программном тексте «Самоколонизированные культуры» рассматривает восточноевропейские общества как итог определенной колониальной травмы³.

Все эти работы имеют не просто общий объект исследования, но и определенное методологическое сходство. Во-первых, все они обращаются к анализу конфигурации знания/власти в регионе, используя идеи Мишеля Фуко и Эдварда Саида. И второе: они предлагают (де)конструктивистское прочтение этих конфигураций. Ключевыми концептами становятся концепты воображения, конструирования либо изобретения: традиции, нации, сообщества, территории.

Несмотря на это общее, отличаются идеологические акценты: некоторые авторы направляют свой деконструктивистский пафос *против центра*, пытаясь показать *власть за работой*, показать, как рождается та позиция интеллектуального превосходства, что последние столетия характеризует отношение центра к своим перифериям. Другие исходят из обратных задач: их деконструктивизм направлен на развенчание попыток периферии пройти тем самым путем, которым когда-то шел центр, и по существу должен подчеркнуть всю слабость и интеллектуальную вторичность новых проектов по сравнению с респектабельной стариной старых.

Но в конце концов и первое и второе приводит к нулевому итогу: богатство и многообразие идентификаций, образов, конкуренция проектов на той либо другой территории, – как в центре, так и на периферии, – все это видится как грезы интеллектуалов, как работа воображения и тем самым дисквалифицируется.

Слабость этих исследований состоит (как это ни парадоксально) в их методологической наивности. Основные понятия не вводятся, а берутся в готовом и «всем понятном» виде. Ссылаются не на методологию, а на предшественников. В результате конструктивизм такого рода становится *методологией для бедных*: когда историк (либо историк идеи) не в состоянии объяснить, как возникает тот либо иной феномен, каким образом происходит процесс перехода от сингулярного интеллектуального события к норме, от единичного к необходимому (Фуко), он вынимает из кармана модель изобретения. При этом не замечается, что сам акт изобретения либо воображения чего-то так и остается на уровне сингулярного события и по сути ничего не объясняет⁴.

Также не принимается во внимание, что изобретение, конструирование и воображение – это разные вещи. Изобретение, конструирование – это всегда попытка рациональной интервенции в реальность, размещение в реальности того, чего там раньше не было как целого, хотя и существовало в качестве материала, строительных частей. Воображение же – это скорее вытесненное из реальности то, что не нашло там надлежащего и легитимного места и что теперь осталось без основания, как случайное. Как сказал бы Лакан, конструирование – это всегда работа *символического*, воображение же происходит на уровне *воображаемого* и идет в обратном направлении.

На сегодня недостаточно просто заявить про то, что что-то было изобретено, сконструировано, либо воображено.

Необходимо обращение к *самим вещам*.

Нужен, с одной стороны, новый анализ культурного архива эпохи, совокупности единичных интеллектуальных событий, что случились на той либо другой территории, что возникали на пункте пересечения интеллектуального, культурного, социального, политического.

С другой – обращение к системным вещам: анализ дискурсов, интеллектуальных формаций, социальных механизмов функционирования идей.

Нужна работа со всей тотальностью эпохи.

И в этой работе не обойтись без концепта модерности.

Вульф избегает концепта модерности⁵, хотя и ссылается на определенную интеллектуальную традицию, в которой она легитимно присутствует, – на Эдварда Саида и Имануэля Валлерштайна⁶. С Валлерштайном Вульф не соглашается, элегантно отбрасывая всю его модель восточноевропейского присутствия в истории капиталистического мира-экономики одним абзацем⁷.

Основную же методологическую нагрузку несет концепт ориентализма, что возник благодаря Эдварду Саиду и его одноименной книге⁸. Ларри Вульф пишет, что процессы изобретения Восточной Европы могли бы быть названы полуориентализацией, изобретением своего, близкого «востока», только в более мягкой форме.

В дальнейшем Вульф обращается к анализу текстов, посчитав, что ссылка на Саида достаточна для введения основного концепта, на котором держится вся структура книги. Надо отметить, что и термин *изобретение* в книге употребляется скорее как концептуальная метафора, чем как концепт с определенным содержанием: Вульф нигде не объясняет, что значит изобретение Восточной Европы и какую реальную задачу для Запада решали соответствующие процессы, помимо обеспечения «нарциссизма центра».

Попробуем сравнить содержание концепта *ориентализм* у Саида и *полуориентализм* Ларри Вульфа.

Книга Саида «Ориентализм» вышла в 1978 году. Как свидетельствует сам автор, окончательная версия текста писалась в 1975–1976 годах, во время его нахождения в Стенфордском центре исследований человеческого поведения, и являлась частью более широкого проекта, в рамках которого в 1979 году вышла книга «Палестинский вопрос», а в 1981 г. – «Покрывая ислам».

Что касается академической локализации в контексте своего времени, «Ориентализм» мог рассматриваться (и рассматривался) как использование идей Мишеля Фуко (на которого Саид ссылается) в конкретной области и занять свое место на полке многочисленных постструктуралистских интерпретаций. Но этого не произошло. В результате определенного дисциплинарного и концептуального смещения «Ориентализм» занял место классического текста в постколониальных исследованиях и, как сформулировал Бгабха, *inaugurated the postcolonial field* – объявил о возникновении самого пространства постколониальности. После многочисленных дискуссий и перевода на десятки языков («Ориентализм» даже стал бестселлером в Швеции) сам Саид в послесловии к изданию 1994 года вынужден был (ссылаясь на Борхеса) говорить об «Ориентализме» не как об одной книге, а как о множестве книг. Действительно, на сегодня «Ориентализм» – как книга и как проект – существует в многочисленных интеллектуальных, культурных и академических контекстах.

На Западе, за исключением некоторых случаев категорического неприятия книги (связанного преимущественно с враждебностью к самому постколониальному проекту), реакция академического мира была позитивной. Критика касалась в основном методологических непоследовательностей (объединение в одном исследовании комплекса постструктуралистских идей и понятий (конфигурация власть/знание, понятие дискурса) – и постмарксистской социально-критической перспективы (понятие гегемонии, сформулированное Грамши)). Но ценность самого проекта анализа и деконструкции имперского/колониального дискурса не ставилась под сомнение.

Предметом исследования Эдварда Саида является ориентализм, – как дискурс и как система мышления. Первое из возможных определений ориентализма, которые дает Саид, – академическое. В нем мы имеем дело с академической дисциплиной (или рядом дисциплин), которые занимаются Востоком. Вне зависимости от того, каким аспектом реальности занимается та либо иная дисциплина – антропология, языкознание, экономика, – и вне зависимости от конкретной страны – всё это определяется как ориентализм.

И, несмотря на то что в XX столетии термин выглядит немного старомодным, нагруженным колониалистскими коннотациями XIX века – золотого века европейского колониализма, сущность самого явления органично перешла к его академическим наследникам. Потому что ориентализм – в академическом

значении – это не столько механическая сумма доктрин и идей, сколько определённый тип мышления, который основывается на онтологическом и эпистемологическом различии между Западом (Оксидентом) и Востоком (Ориентом).

Само по себе различие не несёт никаких аксиологических коннотаций: в отличие от дихотомии Север – Юг, которая базируется по крайней мере на климатических отличиях, и Запад и Восток располагаются на одной и той же горизонтальной оси, и именно эта первичная семантическая пустотность и позволяет неограниченную смысловую продуктивность, позволяет использовать оппозицию Запад – Восток как основу и матрицу разнообразных культур-антропологических самоопределений (по линии мы-они, свои-чужие и т.д.). Но только тогда, когда мы нагружаем это различие аксиологическими, культурными и иными смыслами, когда мы начинаем приписывать Ориенту определенную сущность, только тогда мы вступаем в сферу власти собственно ориентализма.

Это значит, что ориентализм основывается не на простом выборе Востока в качестве объекта изучения или пространства потенциальной доминанции, а прежде всего на убеждении, что Восток является сущностно отличным от Запада и это сущностное отличие должно быть исследовано, выявлено и зафиксировано. Действительным предметом ориентализма является не реальный Восток, а всего лишь сущность Востока – и не так важно, как к этому относится сама восточная реальность. Ибо тот, кто знает и контролирует сущность, – владеет и реальностью.

Параллельно с академической дисциплиной и вместе с ней возникает институциональная инфраструктура ориентализма. В этом контексте ориентализм обнаруживает себя как совокупность корпоративных институций Запада, задачей которых является выстраивание взаимоотношений контроля и господства над Востоком. С конца XVII столетия количество таких институций выросло неимоверно. На протяжении XIX века заморские колонии Европы выросли с 35% заселенных территорий земного шара до 85%.

Понятно, чтобы контролировать такие территории, нужна была не только власть, но и знание. Была необходима определенная легитимация европейских колониальных практик, и не только политическая, но и идеологическая, культурная и даже метафизическая.

Предметом исследования Саида является то сложное переплетение власти и знания, колониально-ориентальных институций и академически-ориентальных дисциплин, которому Саид дал название «дискурс ориентализма». Этот дискурс ориентализма не является механической совокупностью власти и знания, политики и культуры, академических текстов и практических действий, совокупностью, в которой каждая из частей остается отдельной и отличной. Разговор идет не просто о тактическом альянсе, взаимной поддержке, – а о глубоких внутренних мутациях как власти, так и знания, об их слиянии во что-то третье. В дискурсе ориентализма мы имеем не просто деградацию знания под влиянием

политических факторов, не хронику расистских убеждений и идей, зашифрованную в научные термины. Мы имеем мутацию базовых принципов, которые до этого времени определяли как феномен науки, так и практическую политику. Именно в результате этого, как утверждает Саид, ориентализм становится дискурсом имперской доминации со своими принципами и стратегиями.

Один из таких принципов – принцип реальности. Как для науки, так и для политики принцип реальности является самым главным. И наука и политика опираются на реальность, исследуют реальность, изменяют реальность. Но Восток, о котором говорится в дискурсе ориентализма, не является *реальным Востоком* с многочисленными языками и народами, со своей историей и географией. Восток не является эмпирической данностью. Восток ориентализма является идеей, конструкцией, принципом формирования и порождения реальности. И главное в этой идее Востока – то, что он является *не-Западом*.

В то же время этот изобретенный Европой Восток – изобретенный как для Европы, так и для самого Востока – остается недостижимым в своей сущности. Чтобы этот Восток открыть для Запада, он должен быть еще и ориентализирован – это значит поставлен в ситуацию такой оппозиции к Западу, в которой Запад имел бы возможность, право и средства господствовать над Востоком.

Образы и идеи Востока, которые изобретает ориентализм, не являются только неправдой или только мифами. Они, безусловно, имеют отношение к действительности, но отношение сложное и амбивалентное. Исходя из колониального статус-кво, из ситуации реального превосходства Запада в конкретный отрезок времени, ориентализм универсализует это превосходство, придает ему метафизический, вневременной характер. В результате ориентализированный Восток априорно ниже Запада, априорно подчинен Западу, ибо такая его сущность.

Таким образом, если суммировать, получается следующая картина.

Имперский дискурс, воплощенный в ориентализме, работает через исключение, локализацию и универсализацию временных преимуществ.

Важная особенность: ориентализм работает через знание, применяет знание, опирается на него – и в этом смысле совсем не связан с воображением, фантазиями, с тем, что, согласно Вульфу, послужило основным материалом при изобретении Восточной Европы.

Это, собственно, и есть основная методологическая посылка Вульфа и Саида. Ориентализм работает через знание. Восточная Европа рождается в режиме воображения, фантазии. В режиме вытесненного.

Но что значить *изобретение* применительно к фантазии? Каким образом конструируется Восточная Европа и в каких таких целях, когда при ее изобретении можно обойтись без знания? На эти вопросы Вульф не просто не дает ответа, – он их даже не ставит.

Возникает подозрение, что, обращаясь к западному воображению, к фантазиям, к воспоминаниям путешественников, Вульф выбирает *не тот материал*.

Чтобы анализировать процесс ориентализации Восточной Европы, нужны обращение к знанию, к научному дискурсу, анализ тех дисциплин и моделей, которые применялись Западом для описания и концептуализации Восточной Европы.

И еще одно. Как и Саид, Ларри Вульф неоднократно подчеркивает, что его исследование – о западных интеллектуалах, которые изобретают концепт либо образ Восточной Европы, а не о Восточной Европе как реальности.

В то же время Восточная Европа стояла значительно ближе к центру, чем классический Восток, и, безусловно, реагировала на изменения своего статуса.

В этом смысле реакции восточноевропейских интеллектуалов на первые попытки Запада выстроить новую современную/колониальную иерархию являются частью интеллектуальной истории *всего континента*.

Без исследований этих реакций схема Вульфа не просто неполная – она зависает в воздухе.

И все же анализ Вульфа необычайно важен и интересен. Только тот материал, с которым работает Вульф, позволяет сформулировать обратную гипотезу.

Восточная Европа начинает видаться как иная, другая Европа, как амбивалентное пространство, место, где с тех самых (модерных) слагаемых возникают другие конфигурации. Восточная Европа в таком прочтении есть своеобразной лабораторией модерности, где в той самой логике (переход от традиционного к новому обществу) возникали *модерные альтернативы*.

Тема модерности неизбежно возникает при любых попытках написания интеллектуальной истории региона.

При этом модерность понимается не столько как один из исторических периодов (Новое время), сколько как определенное цивилизационное событие, которое создало гештальт современного мира. В этом новом гештальте Европа либо Запад заняли место центра, превращая остальной мир в провинцию либо периферию.

Существует определенная традиция, что проецирует соответствующую схему в политико-экономическую, социально-культурную и даже философскую сферы. В политико-экономической проекции это приводит к истории капиталистического мира-экономики (И. Валлерстайн), с ее ядром, полупериферией и периферией, территориями, которые остаются (либо стремятся остаться) вне капиталистической системы обмена. В социально-культурной преобладает проблематика национальных проектов и всего, что с ними связано: национальных государств, культур, идеологий. Национальный проект с соответствующим типом общества и государства выступает в качестве основной современной «утопии» Запада, утопии, которая навязывается остальному миру как универ-

сальная. И которая, наконец, должна быть преодолена в эпоху поздней модерности.

Наибольшие проблемы и недоразумения возникают при анализе интеллектуальной траектории модерности, при опознавании и анализе тех самых вызовов модерности в сфере идей, на которые периферия была вынуждена «искать ответы». В философии возникают попытки отождествить интеллектуальную траекторию Европы, модерную идентичность Запада, с универсальностью как таковой, с универсальной позицией критического разума (от Гегеля до Хабермаса).

В этой простой (и самой распространенной) схеме «прихода модерности» Восточная Европа видится как одна из периферий, для которых вызовы модерности стали политико-экономическим, культурным, но прежде всего интеллектуальным шоком.

Дальнейшая логика периферийности ведет к двум вариантам ответов периферии на вызовы модерности: либо чистая рецепция, принятие модерности в исторически возникших западных формах, либо сопротивление, которое ведет к нативизму и консерватизму.

Для Восточной Европы эта бинарная схема приводит к следующему.

Первое. Создание каталога отсутствия, который помещает в себе все то, что есть на Западе и чего нет на Востоке. Этот лист должен пояснить отставание либо опоздание Восточной Европы и фактически является частью обратного процесса – изобретения Запада как определенной нормы. Западный канон, который изобретает для себя Восточная Европа, и является по сути такой нормативной идеей.

И второе. К определенной схеме размещения собственного содержания, при которой все артефакты эпохи ретроспективно относятся либо к прогрессивным, либо к отсталым (ре-грессивным).

В интеллектуальной истории (либо истории идей) логика периферийности приводит к идее рецепции как универсальной схемы, которая позволяет объяснить все локальные траектории идей.

Весь этот процесс можно было бы назвать процессом интеллектуальной самоколонизации, если применить концептуальную метафору Александра Кьёсева. Сама схема является итогом определенных структур культурного колониализма, интеллектуальной зависимости. Ведь – и это чрезвычайно важно для понимания восточноевропейских путей через модерность – идеология модерности не просто зафиксировала цивилизационный отрыв остального мира от центра, она сама и спроектировала этот отрыв.

В результате в западном воображении история Восточной Европы попадает на теньевую сторону модерности.

История европейской периферии таким образом может быть рассказана как часть истории *иной Европы*, как часть *европейской тени*.

Такая история еще не написана, хотя ее фрагменты мы наблюдаем в самых разных интеллектуальных движениях последних десятилетий.

Написание такой истории несет с собой определенные концептуальные сложности. Не так просто писать историю тени либо историю неприсутствия. Еще сложнее создавать знание про неприсутствие.

Стремясь рассказать историю про колонизированного, мы сталкиваемся со странной детерриторизацией: нет такого места *в современности*, где эта история могла бы разместиться.

С одной стороны, история тени разворачивается в том же времени, что и главная история, – но в результате определенной концептуальной подмены она находит, что ее правдивое место в прошлом, как бы это прошлое ни называлось (домодерностью, детством, примитивностью, отсталостью) и какое бы место на ментальной карте ни занимало (Восток, периферия, провинция, отсутствие).

История теневого пространства европейской модерности – это не только история угнетенных народов и неуспешных наций. Это также и история природы (!), которая стала первым и основным объектом колонизации. Это и история *детства*, история *женского*, а возможно, и история *старости*. Это история преодоленных (хотя и не превзойденных) цивилизаций и типов культуры.

Чтобы описать эту двойную работу модерности, Вальтер Миньёла ввел понятие *модерный/колониальный раздел мира*³.

Согласно ему, одним с итогов европейской модерности стало *пере-воображение мира*. Универсальность выявила свои границы. За этими границами напали себя европейские колонии. На пограничье универсального и локального возникли европейские периферии. Одна из таких периферий – Восточная Европа.

Анализируя периферии модерности, мы сталкиваемся с тем, что сам объект анализа парадоксальный. Собственно говоря, именно европейская модерность и перевоображает мир, разделяя его на центр и периферию, и потому надо говорить о перифериях модерности не как о натуральной норме эпохи, а как об итоге современных практик.

Одним из существенных моментов идеологии модерности являлось возникновение схемы центр – периферия. Появляется идея всемирности – в литературе (Гете), философии (Кант). Модерность занимает центр этой воображаемой всемирности, понимает себя как основной двигатель прогресса. Европа (главные европейские нации) стремится при этом рационализировать и представить как *разумное* те элементы, силы, идеи, какие ее образуют. Начинается конструирование периферии и (следующая стадия) ее колонизация.

Периферии модерности не являются только географическим понятием. Периферией становятся все сферы, которые должны подчиняться европейскому разуму. Эмоции и воображение образуют близкую периферию разумной души или человеческого сознания. Деревня и традиционная культура образуют социальную и культурную периферию. Неевропейские (дикие, примитивные, неисторические) народы образуют пространственно-историческую периферию. Периферия возвращает в центр многочисленные контрмодерные идеи и проекты. Разум в этом противостоянии становится не только инструментом критики и рационализации, но и инструментом колонизации, часто воспринимается как чужая, колониальная сила, ему противопоставляются проекты, которые стремятся поставить под вопрос сам разум.

Таким образом, история европейской периферии не является чем-то внешним к процессам европейской модерности. Она есть их органической частью. Но при этом – секретной, скрытой частью, чем-то, что никогда не выходило на поверхность европейского культурного нарратива, что всегда было отсутствующим на уровне репрезентации, хотя и присутствовало на уровне реальности.

Эта история есть часть теневой стороны европейской модерности, а именно *внутреннего колониализма*.

И дело тут не только в том, что часть сегодняшних европейских наций на протяжении истории были объектами угнетения и колонизации со стороны своих более сильных соседей. Не только в неуспешных проектах нациогенеза в границах самой Европы (провансальский, шотландский, валлийский и пр.). И не только в периферийных нациях, что и сегодня существуют в ситуации зависимости.

Дело в том, что процессы колонизации неотделимы от европейской модерности, но никогда не ставились под вопрос в своих основаниях, мотивациях и последствиях.

Хотя европейская история однозначно связывает процессы возникновения Новой Европы (европейской модерности) и европейский колониальный проект, сами эти процессы и тематика колонизации обычно отодвигаются на маргине европейского мышления, рассматриваются как дополнение к процессу становления европейской рациональности. Дополнение, которое преодолевается в современных стратегиях мультикультурализма, толерантности, уважения к Иному и т.д.

Маргинальный и дополнительный статус феномена колонизации позволял исключать саму тему из классических западных теорий рациональности, от Макса Вебера до Мишеля Фуко и Юргена Хабермаса. Несмотря на этот распространенный стереотип 1980–1990 годы принесли понимание, что феномен колонизации неотделим от процессов становления новоевропейской рациональности, зашифрован в ее базовых оппозициях и даже структурирует эту рациональность.

Как мы уже говорили, европейская модернность поставила остальной мир в ситуацию колониальной зависимости, и именно из этой ситуации – ситуации колониального столкновения – рождаются антиколониальные национализмы. Возникают опоздавшие, неоконченные модерности *самоколонизированных* – по Къёсёву – культур, культур европейской тени. Эти новые модерности подходят – в процессе преодоления своей конститутивной травмы – к моменту присвоения универсального. И именно в этот момент они слышат с Запада, что универсальности не существует, что великие нарративы окончательно исчерпали себя и что *их модерности* навсегда должны остаться провинциальными, локальными, неоконченными проектами. Это связано еще и с тем, что колониальные и имперские нации рассматривают *только себя* как универсальные, а потому навязывают образ провинциального, нативистского, антимодерного всем антиколониальным национализмам.

Таким образом, наши исходные предпосылки достаточно прояснились.

Это прежде всего плюрализм траекторий модерности либо путей через модернность. Отказ от ее нормативного содержания (Э. Дюссель).

И второе, амбивалентность самого явления, которое состоит из разных проектов либо разных *обещаний модерности* (И. Валлерстайн).

И всё же откуда мы могли бы увидеть наше восточноевропейское пограничье?

Как писать историю тени?

Две вещи, согласно нашему мнению, являются обязательными компонентами любых возможных генеалогий: *деконструкция кодов угнетения* и *новое обращение к культурному архиву*, новое его прочтение.

Первая задача требует деконструкции, анализа и расшифровки конфигураций власти/знания в тех либо иных восточноевропейских зонах. Анализа тех кодов и нарративов, в которых Восточная Европа возникает перед западным знанием. Эти коды на протяжении европейской истории менялись.

В конце XVIII столетия это был код отсталости, связанный с метанарративом «прогресса». В XIX столетии это был образ «человека этнического». В XX веке Восточная Европа стала *царством идеологии*.

Новое прочтение культурного архива предусматривает обращение к тому очень специфичному интеллектуальному/идеологическому ландшафту, который начал складываться в Восточной Европе с приходом модерности.

Вся эта работа должна вернуть нас к основным вопросам.

Что происходило в восточноевропейской лаборатории модерности? Куда шла Восточная Европа? В каком направлении? Вопреки или навстречу модерности?!

В контексте этих вопросов исследования локальных ответов на вызовы модерна имеют совсем не локальное значение. Они позволяют очертить границы универсальности и нормативности идеологии модерности, выявить ее скрытый евроцентризм и, наконец, дать более полную картину асинхронной модернизации, итогом которой стала экономическая, культурная и социально-политическая неоднородность современного мира, в котором для большинства обществ модерность еще не закончилась.

Примечания

- ¹ Wolff L. *Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*. Stanford (Californ.): Stanford University Press, 1994. В 2003 году вышел русский перевод: Ларри Вульф. *Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения*. М.: НЛЮ, 2003. Было бы интересно рассмотреть работу Вульфа не только в отношении к самой восточноевропейской реальности, но и как определенный дисциплинарный разрыв с моделями и схемами восточноевропейской истории основателя этой субдисциплины Оскара Халецкого. См.: Halecki O. *Historia Europy – jej granice i podziały*. Lublin: Instytut Europy Środkowo Wschodniej, 1994.
- ² См.: Bakic-Hayden M. *Nesting Orientalism: The Case of Former Yugoslavia* // *Slavic Review*. 1995. № 4 (54). P. 917–931; Gourgouris S. *Dream Nation: Enlightenment, Colonization and the Institution of Modern Greece*. Stanford: Stanford University Press, 1996; Todorova M. *Imagining the Balkans*. Oxford: Oxford University Press, 1997; Goldsworthy V. *Inventing Ruritania: The Imperialism of the Imagination*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- ³ К'эсэу А. Самакалянизованыя культуры // *Фрагменты*. 1999. № 4. В 1990-е мы имеем целый парад таких изобретений. Например, см.: Delanty G. *Inventing Europe. Idea, Identity, Reality*. New York, 1995; Inden R. *Imagining India*. Cambridge Oxford, 1990; Federici S. (Hg.). *Enduring Western Civilization: The Construction of the Concept of Western Civilization and its «Others»*. Westport (Conn.), 1995.
- ⁴ Существует целая традиция анализа незападных форм модерности. См.: Chakrabarty D. *Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern studies*. Chicago: The University of Chicago Press, 2002; Dussell E. *The Invention of the Americas: Eclipse of «the Other» and the Myth of Modernity*. New York: Continuum. Translated by Michael D. Barber. Therborn G. *Multiculturalism and East Central Europe in European Modernity* // *Cultural Crossroads in Europe*. Stockholm: FRN, 1997. S. 22–41.
- ⁵ Wallerstein I. *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press, 1974.
- ⁶ В этом замечании Вульф не оспаривает само место Восточной Европы в системе неэквивалентного обмена раннекапиталистической (европейской) миро-экономики. Он только говорит, что этому месту еще не соответствовал образ периферии, который пока не был изобретен западными интеллектуалами.
- ⁷ Said E. *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*. 3rd edn, Penguin, Harmondsworth, 1991 (1978).
- ⁸ Mignolo W. D. *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton: PUP, 2000.